

Глава VIII

Белинский вне своего кружка. – Военный историограф. – Обед у Башуцкого и чтение его. – Обеды и вечера А. С. Комарова. – Лажечников и его неудачное искание места директора московских театров. – Смерть Воейкова и Полевого. – Отношения тогдашних литераторов к «Отечественным запискам». – Несколько слов о Губере.

Белинский редко и неохотно выходил из своего кружка, и то по усильным просьбам приглашавших его. Он изредка бывал у Одоевского, на вечерах у Михайловского – Данилевского, у Башуцкого, иногда у Струговщикова, да в год раз посещал обыкновенно Гребенку, когда тот приезжал звать его на малороссийское сало и наливки. Здесь он встречался с литературными знаменитостями – с Кукольником и с другими... Но он не желал сблизиться с ними. Кукольник смотрел на него искоса, с любопытством, с высока своего уже шатавшегося величия и замечал: «там у них (под этим Кукольник разумел г. Краевского), говорят, появился какой-то Белинский; он порет им объективную дичь, приправленную конкретностями, а они думают, что это высшая философия и слушают его развеся уши». Белинский с своими старыми приятелями Надеждиным и Полевым не возобновлял сношений в Петербурге... На петербургских литераторов вообще он мало обращал внимания; он знал, что они не терпят его и боятся. Это, впрочем, было приятно его самолюбию. – «Этого семинариста (хотя Белинский вовсе не был семинаристом) раздражать нельзя, – говорил про Белинского один знаменитый военный историк: – с ним надо вести себя тонко и, напротив, стараться смягчать его».

Он искал случая познакомиться с Белинским и, познакомившись, тотчас пригласил его к себе на вечер.

Белинскому было это тяжело, но он не имел духу отказаться. Скрепя сердце он отправился на приглашение историка и, нехотя улыбаясь, обратился ко мне:

– Шутите со мной! я нынче, батюшка, к генералам на вечера езжу.

Вот что передал мне Белинский об этом вечере.

«Я, разумеется, входя уже на лестницу к нему, почувствовал робость, хоть я очень хорошо сознавал, что робеть перед ним было бы смешно и что перед ним собственно я бы не сробел, да мне пришло в голову, что у него дочь, да еще, кажется, фрейлина, родственницы разные – светские дамы... потом толпа лакеев в передней, которые так все и вытарасили на меня глаза... Я чувствовал, что я побледнел, когда лакей отворил передо мною дверь в залу. Не успел я сделать шага вперед, как перед самым носом моим очутился его превосходительство с распростертыми объятиями...»

«– Я, говорит, не знаю, как и благодарить вас, Виссарион Григорьевич, за то, что вы удостоили меня посещением. Поверьте, что я глубоко ценю ваше внимание ко мне... – И пошел, и пошел...»

«Я сконфузился и пробормотал что-то. Он схватил меня за руку и потащил в гостиную, где сидело несколько не знакомых мне человек: оказалось, что это были какие-то фельетонисты и критики... Между ними сидела его дочь, прехорошенькая, лет семнадцати.»

«– Надя! Надя! – кричал он ей: – предчувствуешь ли ты, кого я веду за собой?»

«Надя вскочила со стула, подошла к нам и посмотрела на меня.»

«У меня так и забилося сердце. Я весь вспыхнул и, чувствуя мучительную неловкость, поклонился ей.»

«– Это моя дочь, рекомендую, – говорил генерал, – глубочайшая почитательница всех ваших сочинений (я был убежден, что она первый раз слышит мое имя и никогда не читала ни одной моей строчки, – от этого я пришел еще в большее смущение)...»

«– Ведь это Виссарион Григорьич Белинский, – продолжал он, обращаясь к дочери: – кланяйся ему да пониже, благодари его за честь, которую он нам сделал. Покажи ему, что мы умеем ценить таких людей, как он. Виссарион Григорьич наш первый современный критик.»

«Надя, кажется, улыбалась мне и кивала приветливо головкой, – хорошенько, впрочем, я не видел. В глазах у меня был туман, я совсем задыхался, кровь так и била мне в голову.»

«Наконец я уселся на стул и только хотел было вздохнуть полегче, как хозяин дома закричал дочери: »

«– Ну что ж ты... Подай Виссариону Григорьичу трубку, сама набей ее и закури...»

«– Нет... что это... помилуйте... не беспокойтесь, – пробормотал я, вскакивая со стула и едва держась на ногах...»

«Но Надя выпорхнула из комнаты, как птица, и через минуту явилась передо мною с чубуком и с зажженной бумажкой...»

«Я дрожащей рукой схватил чубук и начал тянуть изо всех сил, несмотря на то, что никогда не курю; но она держала зажженную бумажку над трубкой и отказаться от куренья я полагал невежливым.»

«Я никогда не ужинаю, – ужин, вы знаете, вреден мне; а тут я должен был есть поневоле, потому что и сам он и Надя накладывали мне блюда. Вино для меня – яд, а я и вино принужден был пить, потому что он и Надя его протягивали ко мне свои руки и чокались с моим бокалом...»

«И вино-то еще прескверное!.. Фу!»

Белинский отдувался.

«Я еще до сих пор не могу притти в себя от этого вечера...» – заключил он.

Когда Белинский ушел после ужина (это рассказывал мне впоследствии один из присутствовавших на этом вечере), – хозяин дома, в присутствии дочери, обратился к остальным гостям своим, допивавшим вино, и произнес, вздыхая:

– Вот, господа, каково мое положение (надо заметить, что к ночи генерал был всегда навеселе). Я должен принимать к себе, ласкать этого наглого крикуна, этого семинариста, который ни стать, ни сесть не умеет в порядочном доме, из одного только, чтоб он не обругал меня публично... Ведь, согласитесь, в моем чине... я генерал-лейтенант, с моим именем, с моими связями быть обруганным – это ведь невозможно перенести... Если бы не это, я и на порог своего дома не пустил бы его...

Генерал имел обыкновение отзываться таким образом о каждом своем госте тотчас по уходе его. Белинский узнал это впоследствии и, разумеется, уже более никогда не появлялся к нему, несмотря на все мольбы Данилевского и любезные угрозы прислать за ним свою Надю.

Белинский не только между такими генералами, но вообще в кругу людей мало знакомых ему, которых он изредка встречал у своих приятелей, терялся, робел, чувствовал себя неловким, скучал; но если разговор касался вопросов, задиравших его за живое, и кто – нибудь из присутствовавших дотрогивался неловко до его убеждений, Белинский вспыхивал, разгорячался, выходил из себя и приводил в ужас своими резкими и крайними выходками тех, которые мало знали его...

Литературных вечеров и чтений он не терпел...

Однажды А. П. Башуцкий, с которым Белинский познакомился у меня, напал на него с убедительною просьбою, чтоб он выслушал несколько отрывков из его романа «Мещанин», уверяя, что он более всего дорожит его мнением и верует безусловно в его эстетический вкус. В сущности едва ли это было правда. Башуцкий принадлежал к литераторам старой школы, со всеми с ними находился в приятельских отношениях, не исключая и Булгарина, и не мог питать расположения к воззрениям Белинского; но ему надобно было смягчить неумолимого критика, литературного бульдога, перед выходом своего романа.

Башуцкий пригласил Белинского, меня и Языкова обедать к себе. Белинский долго и упорно отговаривался недосугом, нездоровьем; но любезность Башуцкого и наши просьбы победили его.

Перед обедом я заехал за ним. Он одевался нехотя и ворчал на меня...

– А ну как он вздумает хватить весь роман? – спросил меня Белинский, когда мы остановились перед дверью, чтобы позвонить: – меня мороз подирает по коже при этой мысли...

Я успокоивал его, что это невозможно.

Обед был прекрасный. После обеда мы отправились в кабинет хозяина; он поместил нас на покойных креслах, кресло Белинского поставил против себя, достал огромную рукопись и после нескольких оговорок начал чтение с первой главы. Белинский взглянул на меня и на Языкова с ужасом.

Чтения самых прекрасных произведений после обеда, когда совершается пищеварение, особенно неудобны для авторов. Башуцкий не расчел этого. Мы с Языковым заснули на половине первой главы... Когда я проснулся и взглянул на часы, было уже девять часов.

– Извините меня, Александр Павлович, – перервал я автора, – я должен ехать, я дал слово... Мне очень жаль, что я лишаю себя удовольствия, – и т. д.

Белинский злобно взглянул на меня. Я уехал.

На другой день, зайдя к Белинскому, я застал его в самом мрачном расположении.

– Вы поступили со мною самым постыдным образом, – сказал он мне. – Знаете ли, что я до четырех часов должен был высидеть у Башуцкого, не вставая с места. Он прочел мне всю первую часть своего романа. Каково мне было, вы можете себе представить!.. Сегодня я болен, у меня грудь разболелась, в голове чорт знает что... Так не поступают приятели. Но уж в другой раз такой штуки вам не удастся сыграть со мной... Я дал себе клятву не поддаваться вперед на такие приглашения и не слушать вас ни в чем...

Белинский, однако, не выдерживал своей клятвы. Один из товарищей моих по пансиону, А. С. Комаров, родственник того А. А. Комарова, который почти принадлежал к нашему кружку, познакомившийся с Белинским через нас, беспрестанно надоедал ему своими приглашениями то на обед, то на вечер.

А. С. Комаров, считавший своею специальностью естественные науки, получал всевозможные иностранные журналы и книги литературные, политические и ученые, выучивал наизусть либеральные стишки и декламировал их на дебаркадерах железных дорог и на гуляньях, бегал по знакомым с политическими новостями, хвастал тем, что он все, что делается в Европе, узнает первый, сообщал в русские журналы разные ученые известия, перевирая их, приставал ко всем с своим либерализмом, вмешивался некстати во все разговоры политические, ученые и литературные, кормил плохими обедами и поил прескверным вином, клянясь, что это самое дорогое вино. В голове этого господина была страшная путаница; его пустота и легкомыслие превосходили все границы.

Он увивался около Белинского, ухаживал за ним, доставлял ему нужные книги, для того только, чтобы он терпел его и снисходительно принимал его приглашения. Это доставляло ему возможность хвастать потом, что он друг с Белинским и что Белинский без него обходиться не может.

Он завел у себя обеды по вторникам... Попробовав один обед, Белинский объявил Комарову наотрез, что он никогда обедать у него не будет, потому что у него провизия несвежая и вино прокислое, что он человек больной и желудок его не может переносить такой скверной пищи.

– Знаете ли, что у Языкова, – говорил он, – желудок переваривает все на свете, а после одного из ваших обедов он должен был приставлять себе пиявки к желудку.

Комаров всякий раз клялся, что в следующий вторник у него будет тончайший обед и самое дорогое вино от Рауля, и всякий раз был уличаем в хвастовстве.

От обедов его Белинский решительно отказался, но по вечерам он изредка приходил к нему, когда знал, что все мы должны собраться у него, по его настоятельным просьбам и мольбам, от которых мы не умели отделяться.

В один из таких вторников, часов в 9 вечера, я зашел к Комарову... Заспанный, старый и небритый лакей снял с меня шубу...

– Да есть ли у вас кто-нибудь? – спросил я лакея.

– Никого, кроме Белинского.

Я вошел в кабинет хозяина. Лампа ярко горела на столе, заваленном книгами и журналами. Белинский лежал на диване лицом к спинке и просматривал «Revue independante»; хозяин дома сидел у окна и печально глядел в него, хотя в окне зги не было видно. Тишина была мертвая.

– Что это значит? – спросил я.

Комаров завертелся и заболтал что-то. Белинский обернулся на мой голос...

– А! наконец-то! – произнес он: – вы, господа, пренесносные люди: вечно собираетесь по-аристократически в десятом часу, а я имел глупость притти сюда спозаранку... Вы удивляетесь, что застали нас в таком положении? Да помилуйте, он мне так надоел (и Белинский указал на хозяина дома), что я уж должен был просить его оставить меня в покое. Только что я вошел, он не дал мне еще опомниться и как безумный бросился на меня и начал мне читать что-то из «Revue independante». – Я и без вас умею читать, сказал я ему, взял книгу и лег на диван, а он подсел ко мне и смотрит мне прямо в глаза, чего я терпеть не могу. Ну, я и попросил его оставить меня в покое...

Комаров закулил и завертелся около нас и начал болтать какой-то вздор; между тем собрались наши приятели, и вечер прошел очень живо. Белинский не позволял вмешиваться хозяину дома в разговоры и ушел перед ужином, не внимая мольбам его остаться закусить чего-нибудь.

– Прощайте, господа, – сказал Белинский: – мне очень жаль вас, что вы добровольно хотите отравлять себя.

Комаров снова закулил, и когда Белинский ушел, он произнес с насильственным смехом: «А Белинский большой чудака!» – и начал наливать нам в стаканы какое-то темно – синее вино, уверяя, что это лучший лафит...

* * *

По мере того как Белинский возбуждал к себе все большую любовь и уважение нового поколения литературного и нелитературного, старое литературное поколение смотрело на него все с большим ожесточением и бессильною злобою. Один из всех старых литературных авторитетов – И. И. Лажечников искренно дорожил его мнением и каждый приезд свой в Петербург посещал его.

И. И. Лажечников принадлежит к тем живым, редким натурам, которые никогда не стареются духовно и потому чувствуют всегда большую склонность к молодым поколениям. За это их не очень жалуют их сверстники и вообще все отсталые люди, идеал которых не в будущем, а в прошедшем. Лажечников едва ли не единственный из литераторов своего времени, за исключением Одоевского, искренно и без всякой задней мысли, с полным сочувствием всегда протягивавший руку всем замечательным деятелям последующих литературных поколений. Он располагает к себе с первого взгляда своею кротостью, мягкостью, благодушием.. Он настоящий поэт, увлекающийся, беспечный, исполненный фантазий, чуждый всякого практического такта, не уживающийся с действительностью и очень неловко входящий с нею в сделки. Он занимал довольно значительную административную должность; но служба никогда не везет таким людям, и Лажечников вышел в отставку, расстроив свои дела и нажив себе бездну неприятностей и хлопот. Для того чтобы увеличить свой пенсион, он принужден был в последнее время принять на себя должность цензора; но в этой должности, в беспрестанной борьбе между своею обязанностью и своими убеждениями, он был истинным страдальцем. Дослужившись до пенсионера, он тотчас же оставил ценсорство и говорил, что это счастливый день в его жизни... Благодушие Лажечникова часто доходит до детской доверчивости к людям, до трогательной наивности.

Когда умер Загоскин, Лажечникова, который искал в это время места, один из его знакомых, человек очень почтенный, серьезный, но с некоторым расположением к юмору, уверил, что вакантное место директора московских театров принадлежит ему по праву, что Загоскин был сделан директором именно за то, что написал «Юрия Милославского» и «Рославлева».

– Кому же, – прибавил юморист, – как не вам, автору «Последнего Новика» и «Ледяного дома», принадлежит его место?..

– Да к кому же мне адресоваться? – спросил его Лажечников.

– Отправляйтесь прямо к директору канцелярии министра двора... Вы не знакомы с ним лично, но это ничего: вас знает вся Россия, к тому же директор был сам литератором, он любит литературу, и я уверен, что он примет вас отлично и все устроит вам с радостью... Ему только стоит сказать слово министру двора...

Я слышал этот рассказ из уст самого Лажечникова.

– Я по наивности принял это серьезно, – говорил мне Лажечников, – и отправился к директору.

«Меня ввели в комнату, где уже было несколько просителей, заметив, что надо обождать, что генерал занят. Я ждал директора с полчаса... Наконец, его превосходительство входит; переговорив с несколькими просителями, он обратился наконец ко мне: »

«– Ваша фамилия? – спросил он меня.»

«– Лажечников.»

«– Вы автор „Ледяного дома“?»

«– Точно так, ваше превосходительство.»

«– Не угодно ли пожаловать ко мне в кабинет?..»

«Мы вошли туда...»

«– Милости прошу, – сказал директор, – не угодно ли вам сесть?»

«И сам сел к своему столу.»

«– Что вам угодно? – спросил он.»

«Сухой, вежливый тон свысока несколько смутил меня.»

«Кажется, я сделал величайшую глупость», подумал я; однако ретироваться было уже поздно, и я не без смущения объявил ему, что желал бы получить место Загоскина.

«Когда я произнес это, я видел, что лицо его превосходительства подернулось иронией, пришел от этого в еще большее смущение и, если бы можно было, убежал бы от него без оглядки, не дождавшись никакого ответа...»

«– Как... я не дослышал... что такое? Какое место? – произнес директор, устремляя на меня резкий взгляд.»

«Я, проклиная внутренне свою доверчивость, повторил глухо: „место директора московских театров“..»

«Его превосходительство так улыбнулся, что я не знаю, чего бы я ни дал в эту минуту, только бы не видеть этой улыбки.»

«– Какое же вы имеете право претендовать на это место? – спросил он, – вы знаете ли, что это генеральское, очень важное место?»

«Я не совсем связно отвечал ему, что так как Загоскин, вероятно, получил это место вследствие своей литературной известности, то я полагал, что, пользуясь также некоторою литературною известностию, могу надеяться...»

«Но директор прервал меня с явною досадою...»

«– Напрасно вы думаете, что Загоскин имел это место вследствие того, что сочинял романы... Покойный Михайло Николаич был лично известен государю императору, – вот почему он был директором. На таком месте самое важное – это счетная часть, тут литература совсем не нужна: она даже может вредить, потому что господа литераторы вообще плохие счетчики. На это место, вероятно, прочат человека опытного, знающего хорошо администрацию, притом человека заслуженного и в чинах...»

«Я сидел как на иголках. При этих словах я вскочил со своего стула и начал неловко извиняться и оправдываться в том, что обеспокоил его превосходительство.»

«– Ничего, ничего, – проговорил он, – я сожалею, что не могу быть вам полезным, но я вам должен сказать откровенно, что вам никак нельзя было претендовать на такое место...»

«Я не знаю, как я вышел от директора...»

«– Ну, нечего сказать, славную штуку сыграли вы со мной, – сказал я моему знакомому, посоветовавшему мне отправиться к директору, и передал ему, какой прием был сделан мне.»

«– Скажите! – отвечал он добродушно: – а я ведь, право, думал, что он, как литератор, примет вас, нашего первого романиста, с распростертыми объятиями и готов будет все сделать»

для вас. Вот как иногда ошибаешься в людях! Ну кто бы мог это предвидеть? Ах, как жаль, как жаль!.. Да я и представить себе не могу, кого же они назначат на это место? Я все – таки убежден, что оно, по всем правам, принадлежит вам».

Лажечников не столько досадовал на директора канцелярии и на господина, посоветовавшего ему идти к нему, сколько на самого себя, и сам подсмеивался над своею доверчивостию и наивностию...

* * *

Немногие даже из замечательных людей сберегают до старости то живое начало, ту смелость духа, те благородные стремления, которые одушевляли их и давали им силу в молодости. На таких старичков, благословляющих, а не клянущих новые поколения, смотреть легко и отраднo. Они одушевляют юность на подвиги и вселяют в нее ту веру, без которой мертвы дела.

Но зато ничего не может быть жалче и печальнее, когда видишь человека, разбитого жизнью, бессильного, пережившего самого себя, старающегося насильно удерживать за собою власть, принадлежавшую ему некогда по праву, человека, прикидывающегося молодцом, когда уже ноги дрожат и изменяют ему на каждом шагу, и с злобною завистью отрицающего действительную силу, проявляющуюся в новом поколении... Такое зрелище представлял, к сожалению, в последние годы своей жизни некогда сильный литературный боец, под влиянием которого воспиталось почти все наше поколение. Я говорю о Полевом.

Если бы он после рокового произвола, обрушившегося над ним, присмирел поневоле и продолжал бы честно и смиренно трудиться с единственною целию поддерживать свое многочисленное семейство, имя его осталось бы незапятнанным в истории русской литературы. Но Полевой с испугу поспешил употребить слабые остатки своего таланта на угодничество, лесть, которых никто от него не требовал; беспрестанно унижал без нужды свое литературное и человеческое достоинство, протягивая свою руку людям отсталым, пошлым защитникам тех принципов, против которых он некогда ратовал, отъявленным негодьям, и – что всего хуже – с завистливою ненавистью отвернулся от нового поколения. Я редко бывал у Полевого, он знал мою дружбу с Белинским и потому был очень осторожен при мне, но, несмотря на это, не мог скрывать своего недоброжелательства к нему. Он не мог простить Белинскому того, что тот пользовался любовью и уважением молодежи в той же степени, если не более, какими пользовался некогда он... Ему хотелось показать, что Белинский приобрел значение не по праву, что он не имеет для критика достаточного образования, не владеет тактом и мерой, «хотя бесспорно отличается большою бойкостью пера»...

– Да и на нынешнюю молодежь-с, – прибавлял он, – угодить, ей-богу, не так трудно... Она нетребовательна-с... Это не то, что молодежь нашего времени-с...

Я не спорил с Полевым. Это было бы напрасно. Полевой, кажется, успокоивал свое узвленное, больное самолюбие такими невинными парадоксами до конца жизни.

Хотя он совершенно потерял в последние годы свое литературное значение и популярность, но смерть его всех на мгновение примирила с ним. Полевой, восхвалявший романы частного пристава Штевеиа, писавший «Парашей-Сибирячек» и другие тому подобные произведения, был забыт.

В простом деревянном гробе, выкрашенном желтою краскою (он завещал похоронить себя как можно проще), перед нами лежал прежний Полевой, тот энергический редактор «Московского телеграфа», которому мы были так много обязаны нашим развитием.

Полевого отпели в церкви Николы Морского. Церковь была набита битком. Все почти литераторы присутствовали на его похоронах. Гроб его студенты несли до кладбища на руках.

Полевой, впрочем, скоро после похорон был забыт, как забываются все люди, имеющие несчастье умереть еще заживо.

Перед этим уже многие литературные деятели прежнего времени, о которых упоминал я в 1-й части моих «Воспоминаний», окончили свое земное поприще... Умерли Свиньин и Воейков, к удовольствию г. Краевского. Их смерть сделала его собственником «Литературных прибавлений» и «Отечественных записок». Г. Краевский был счастлив на журнальные вакансии, как Скалозуб...

Воейков, говорят, за четверть часа до смерти так же хитрил и лицемерил, как всю жизнь. За ним ухаживала в последние минуты какая-то девушка. Он беспрестанно просил пить, и всякий раз, когда она подносила ему питье, он, щипал ее и схватывал за волосы. Чтобы избежать этого, девушка поставила перед ним стакан на стол и уже не подходила близко к постели... Воейков начал стонать, кряхтеть, охать, жаловаться на свое беспомощное положение, клялся, что не может поворотить ни рукой, ни ногой, и слабым, умоляющим голосом обратился к девушке, прося, чтобы она Христа ради поднесла ему стакан к губам... Но лишь только она исполнила его желание, он приподнялся с постели, снова с ожесточением схватил ее за волосы и упал, ослабевши от этого усилия, на постель.

Через четверть часа после этого он снова и сильнее прежнего начал стонать, охать и звать к себе девушку, говоря, что он умирает...

Она не поверила. Он прохрипел и остался недвижим. В этот раз это было уже не лицемерие, а действительная смерть; но девушка еще долго не решалась подойти к постели умершего, все думая, что Воейков притворяется умирающим...

После смерти Полевого, кое-как поддерживавшего «Сын отечества», в нашей журналистике осталось только два видных органа: «Библиотека для чтения» Сенковского, выдыхавшаяся и терявшая с каждым годом подписчиков, и «Отечественные записки» Белинского, успех которых возрастал с каждым годом... Все талантливые люди из нового поколения, появлявшиеся в Москве и Петербурге, присоединялись к «Отечественным запискам». Булгарин в своих субботних фельетонах тщетно употреблял всевозможные усилия, чтобы поддержать «Библиотеку для чтения» и убить «Отечественные записки», но он сам, не замечая того, с каждым годом утрачивал свой авторитет, потому что поколение, веровавшее в него, старело, теряло вес и сходило со сцены. Его протекции и рекомендации потеряли всякую силу. Г. Каменский выхлопотал дозволение возобновить журнал С. Н. Глинки «Русский вестник»; Булгарин принял г. Каменского и будущий его журнал под свою протекцию, кричал из всех сил: «подписывайтесь, подписывайтесь на „Русский вестник“... Я отвечаю, что журнал будет превосходный» и т. д. Но по выходе первой книжки «Русского вестника» журнал этот должен был прекратиться за неимением подписчиков.

Только одни мелкие, дряхлевшие петербургские литераторы, всю жизнь пробавлявшиеся рутиной и фразой, были добродушно убеждены в том, что царству Сенковского и Булгарина не будет конца и что куда же Белинскому тягаться с такими гениями!.. Из литературных авторитетов один Кукольник был открыто на стороне Сенковского и Булгарина; отживавшие литераторы-аристократы держали себя совершенно в стороне: они не терпели Сенковского, презирали Белинского, но, не имея своего органа, изредка, почувствовав желание видеть в печати свои стихи, поневоле отсылали их в «Отечественные записки», потому что имя г. Краевского, некогда красовавшееся рядом с их именами на обертке «Современника», было небызвестно им, и к тому же собственно г. Краевский никогда не оскорблял их самолюбия. Иные из молодых петербургских литераторов, пользовавшиеся некоторым, довольно сомнительным, впрочем, успехом, колебались между «Библиотекой для чтения» и «Отечественными записками», не имея особенного влечения ни к одному из этих журналов. К числу таковых принадлежал Э. И. Губер, человек очень добрый и мягкий, владевший до некоторой степени стихотворным даром, но, к сожалению, имевший претензию на какую-то философию, полученную им в наследство от своего наставника.

Философия эта нисколько не служила к просветлению взгляда Губера на жизнь и искусство, а напротив, затемняла его голову и придавала ему мрачный характер, что-то

таинственное, очень нравившееся, впрочем, дамам. Некоторые из них, принадлежащие к высшему кругу, приняли Губера под свое покровительство и под их влиянием наш философ вздумал писать фельетоны в «С. – Петербургских ведомостях», издававшихся тогда А. Н. Очкиным. Эти фельетоны, излагаемые весьма туманно, состояли из великосветских сплетен. Они имели успех в своем маленьком кружку, очень волновали его, но в публике проходили совершенно, незамеченными...

Граф В. А. Соллогуб, лучший из наших беллетристов сороковых годов, вовсе не разделяя убеждений Белинского, печатал, однако, свои повести в «Отечественных записках», во-первых, по старому своему знакомству с г. Краевским, а во-вторых, потому что «Отечественные записки» приобретали все больший успех в публике; а известно, что молодые люди вообще, и в особенности светские, всегда увлекаются успехом, даже иногда и не сочувствуя ему.